Приветствие участникам Одесского международного литературного фестиваля

Бывает так, что и Богу не всё всегда удаётся с первой попытки. Задумав Вавилонскую башню и придя к мысли о том, что научить разных людей разным языкам можно и посреди стройки, он, наверное, и совершил промашку, которую потом, спустя много лет, исправил. Так что Одесса — это вторая попытка сделать то, что не было сделано в Вавилоне.

Сюда, на пустынный берег моря, двести двадцать один год назад пришли люди более чем ста национальностей — каждый со своим языком и своей культурой. Ими двигала общая идея — создать чудо. И они это чудо создали.

Хороший одесский прозаик Гарик Голубенко сказал, что Одесса — это улыбка Бога. Мы можем только подтвердить это.

С чего начинается любой нормальный город? Естественно, с администрации. После администрации необходимо понять, для чего этот город. Для Одессы это, конечно, порт. Ну а третье? Третьей должна быть солиднейшая тюрьма. Так вот, в Одессе третьим стал оперный театр. Этим мы обязаны герцогу Ришелье. Администрация, порт и потом — спустя пятнадцать лет после основания города — оперный театр. И культура в этом городе была всегда если не самой важной, то, по крайней мере, не менее важной, чем торговля, чем промышленность, чем, в конце концов, мореплавание.

О том, что Одесса — культурная столица, начали писать в начале XIX века. Поэт Туманский сказал, что Пушкин дал Одессе грамоту на бессмертие. Но не только Пушкин. В Одессе жили поляк Мицкевич, украинец Гоголь... Они заложили тот фундамент, на котором дальше и росла одесская литература.

Очень часто говорят об одесской литературной школе. Я согласен с одесско-киевско-московским критиком Олегом Кудриным, что правильнее было бы говорить не о школе, а о волнах. Была первая волна, которая дала фантастический накат в виде классиков. Затем — вторая волна, которая привела в наш город удивительного человека, тогда ещё, по сути, Россией не познанного — фельетониста Власа Дорошевича. В Одессе он стал "королём фельетонов". В Одессе он научил писать целую плеяду писателей. У него учились самые разные люди — Корней Чуковский и Владимир Жаботинский, Лев Троцкий и Илья Ильф. Они учились у него не только строить фабулу, но и фантастически придуманной им хлесткой короткой строке. Именно Дорошевич определил понятие "одесского языка", ввёл его в русскую литературу.

Да, мы говорим не на русском, мы говорим не на греческом, не на еврейском, не на украинском — мы говорим на одесском языке, в котором есть части всех этих языков.

Для мирового культурного сообщества Одесса открылась как огромного значения культурный город, а может, и целый мир в начале XX века. Имена Бабеля, Олеши, Багрицкого, Катаева, Паустовского, Ильфа, Петрова — можно продолжать и продолжать. Действительно: каждый из них — материк, новооткрытая Земля со своим населением, своими взглядами.

И на всех этих этапах в Одессе поражало немыслимое для остальной России чувство свободы. Об этом писали маркиз де Кюстин, Марк Твен, Луи Арагон...

По легенде, после этого литература в Одессе закончилась. Это неправда.

Такой пример — Иосиф Бродский, который приезжал в Одессу, который любил Одессу, который посвятил Одессе прекрасное стихотворение, за свою жизнь составил всего два "Избранных" своих соотечественников. Это избранное Семёна Липкина "Воля", и это избранное Ирины Ратушинской — девочки, которая в Одессе вошла в диссидентское движение, стала независимым человеком, одной из первых угодила в лагеря из Киева и которая стала в Москве превосходным писателем. Так вот, и Липкин, и Ратушинская — одесситы.

И в 30-е, и в 40-е, и в 50-е, и в 60-е годы литература в Одессе была. Она не занимала, возможно, столь значительного места, и, тем не менее, хотелось бы, чтобы нашлись исследователи, которые прочитали бы внимательно и прозу Аркадия Львова, и стихи Бориса Нечерды, и стихи Юрия Михайлика, Анатолия Глущака, Ефима Ярошевского, Анатолия Гланца, Ольги Ильницкой... И опять — отлив волны. И снова — новая волна.

Смерти нет! Но есть Бармалей

Однажды я играла во дворе и мне срочно понадобился мой мяч. Я забежала в дом и, не снижая скорости, влетела в нашу с братом комнату. Мячик должен был ждать меня под кроватью. А на кровати лежала моя бабушка. Она держалась за сердце и тихо стонала. Ее "прихватило", пока она была на огороде.

— Что, бабушка, умираешь? — по-деловому спросила я.

— Да, внученька, умираю, — ответила бабушка, надеясь услышать слова сочувствия.

— Ну, ничего, бабушка, — успокоила я ее, — я тоже умру.

Выудив мячик из-под кровати, я убежала во двор. А бабушка еще не раз вспоминала, как осталась лежать на кровати, держась за сердце и пытаясь не смеяться. Смеяться ей было больно, но не смеяться она не могла.

— Посочувствовала родной бабушке! — вспоминала она мне спустя годы.

Вы только не подумайте, тогда я не была жестокой. И я умела сочувствовать. Но когда знаешь, что ничего страшного не произошло, то что ж поделаешь?

Я помню, как мой брат бежал из нашей спальни и кричал, что не хочет умирать. Может, ему что-то приснилось? Я почему-то в это время еще не спала. Взрослые пытались его утешить, но он продолжал кричать, что не хочет умирать. Я подошла к нему и сказала правду:

— Смерти нет! — мне было странно, что он не знает.

Откуда знала я? Да я видела это собственными глазами! Вернее, когда закрывала глаза. Я часто это видела.

Абсолютно черное пространство. Нет ни пола, ни стен, ни потолка. То есть они есть, но их не видно. Мы лежим на полу: мама, брат и я. Так можно догадаться, что пол все-таки есть. Но все равно ничего не видно. Зато нас видно очень хорошо. И мы мертвые лежим на полу. Наверное, мы умерли одновременно. А потом приходит медсестра — молодая тетенька в туфлях на каблуках (я даже слышу, как ее каблуки цокают по деревянному полу), на ней белый халат и белая шапочка с красным крестом. Ее тоже очень хорошо видно. В одной руке она держит стеклянный пузырек с большим бумажным ярлыком, а в другой — столовую ложку или даже больше, чем столовую. Она по очереди подходит к нам, наливает в ложку из пузырька какую-то микстуру, а потом наклоняется и выливает ее в рот сначала маме, потом — брату, а потом — мне. И мы встаем. И мы живые.

Так что главное — не паниковать, даже если вы умерли, а просто дождаться медсестру.

И вообще: на свете есть вещи пострашнее смерти. Например, Бармалей. Даже не думайте смеяться. Я точно знаю, что вы понятия не имеете, насколько это страшно. Но это единственное, чего стоит бояться. Вы, наверное, начитались Чуковского и насмотрелись картинок в книжке. Мама нам каждое утро читает книжку "Чудо-дерево". Мы с братом ее очень любим. И Чуковского я очень уважаю. Он многое знает. Там рыбы по полю гуляют, и крокодил папиросы курил, и ботиночки на дереве растут. В общем, если человек умный, это видно сразу. Но с Бармалеем он явно промахнулся. Когда я первый раз увидела рисунок с Бармалеем, я решила, что это шутка такая. А потом поняла, что они с художником просто ничего не знали. Так вот, сегодня, похоже, вы узнаете правду.

Он приходит, только когда рядом никого нет и никто не поможет. Он приходит только тогда, когда я сплю. Мне снится комната. Моя обычная комната. Настолько обычная, что вы бы никогда не догадались, что это сон. И я играю в игрушки. А потом я понимаю, что приближается Бармалей. Я это чувствую кожей, душой, поджилками. И шторы на окне начинают вздуваться и тянуться в мою сторону. Никак нельзя, чтобы Бармалей не пришел. Потому что даже шторы уже все поняли. И я одна. И самое страшное — это увидеть его. Поэтому я всегда падаю лицом вниз и закрываю голову руками. И я чувствую приближение силы, против которой ничего не могу. И шторы срываются с карниза и накрывают меня. И тогда я просыпаюсь и кричу: "Бармалей"! И я бегу в комнату к маме. Передо мной абсолютно черное пространство. И всегда в абсолютной черноте эти желтые горящие пятна у меня перед глазами. И ничего не видно. Но это не важно. Я и так знаю, куда бежать, чтобы найти маму. Или мне так страшно, что я не могу пошевелиться, а только кричу: "Бармалей!" И тогда мама бежит ко мне. Она ложится рядом, обнимает меня и что-то говорит, и я уже не боюсь. Я знаю, что сегодня он больше не придет. Потому, что он приходит, только когда рядом нет никого и никто не поможет.

Так что вы теперь понимаете, что его никто не видел и поэтому никто не может его нарисовать. И тот Бармалей у Чуковского — просто мелкий жулик.

Но знаете, жизнь очень смешная штука. В ней постоянно что-то меняется. Многие на это жалуются. Я и сама из-за этого тысячу раз выглядела глупо. Но все же мне всегда было легко, потому что я живу, зная главное — смерти нет, а все, что есть у меня, я могу прикинуть на пальцах. Это упрощает подсчеты, делает жизнь понятной и прозрачной, и я в любой момент могу подвести итог. И я делаю это каждый вечер. И этот итог уже много лет не меняется: у меня остался Бармалей, но мама больше не придет.

Ну да! Да!!! Ладно! Черт с вами! Пусть будет по-вашему!
Пусть будет наоборот.

Майя ДИМЕРЛИ.

Международный литературный фестиваль в Одессе состоялся в Литературном музее. Наш город по предложению организаторов представляли литераторы — постоянные авторы альманаха "Дерибасовская — Ришельевская". Их рассказы, стихи — на этом развороте газеты.

Пчела

А я всегда себе казалась бестелесной.
Ну, в крайнем случае, скалой отвесной.
Вы знаете, как выглядит скала?
И я не знаю, чтобы пальцем указать,
Чтобы сказать: "Вот видите, —
скала скалу целует!"
Весь день я так могу смотреть, стоять,
Стоять, смотреть, стоять, смотреть могу я,
Как сильный ветер разрывает неба крону,
Как божий гнев не страшен Пантеону,
Пока последняя не умерла пчела,
Пока скалу — не предала скала.

Чёрный парус

Ты спишь, Тристан, а снова, без конца,
Не полиняв ещё, уходит лето.
И прихожане ультрафиолета
Молебен норовят стереть с лица.

И птицы всё курлыкают во сне,
Не то голубки, а не то вороны.
Им снятся золотой горох зелёный
И аист, побывавший на войне.

Кривая чайка снов совсем не видит,
Слепая чайка видит, но не те,
Всё чаще — девушку в невидимой фате,
Которая в замужество не выйдет.

Ей были новости, их аист приносил,
Такие тёплые стояли дни и ночи,
Кривая чайка видеть сны не хочет,
А девушке смотреть не хватит сил.

Я знать хочу, что видишь ты, Тристан:
Безумную волну, короткий берег,
На нём следы, и следует поверить
В Изольду поглотивший океан.

Елена БОРИШПОЛЕЦ.

Зовут её смерть, и ни понять её, ни полюбить

Бывают удивительные явления в жизни. И удивительные встречи.

Я решила в очередной раз уйти из дому. Было мне тогда пять лет. Мои родители уже привыкли, что со мной такое случается, и, переволновавшись, но отыскав, в конце концов, беглянку и вымыв ее запыленные руки-ноги, спрашивали голосами мягкими и безнадежными:

— Алена-гулена, почему ты заставляешь нас тревожиться? Мы ведь волнуемся за тебя. Пожалей нас! — добавляла заплаканная мама.

Я не умела ответить на этот разъединственный вопрос. Действительно: почему я их, таких родных и хороших, заставляю тревожиться?

Я просто чувствую, что пришло мгновение встать и пойти туда, где дорога убегает мимо финских домиков вдоль румынской границы, по-над Прутом, туда, ну, туда, где очень тихо. И только иногда речная волглая тишина нарушается душераздирающей музыкой. Чьи души она раздирает? Кого оплакивает?

Там, откуда музыка доносилась, было кладбище. И я ходила смотреть, как взрослые закапывают того, кто больше им не нужен. Покричат, закопают и уйдут. Тогда я подходила, присаживалась на свежий бугорок и думала всегда одно и то же: "Эй, ты, там, в ящике, тебе страшно? Может, хоть цветы скинуть, чтоб не так на тебя давило? А может, вообще тебя откопать? Выпустить из глубины?"

Попыталась однажды, но помешал солдат. Настоящий солдат, только без винтовки. Он подошел и спросил:

— Ты что, могилу откапываешь? Там кто-то твой?

Лицо у солдата было некрасивое, с длинным носом и маленькими глазками, затерянными в густых рыжих ресницах. Он из дремучих этих ресниц смотрел, не мигая, и ждал. Глаз с моих рук не сводил. А я растерялась и потому продолжала копать.

— Солдат, — сказала я, — понимаешь, я думаю, что в этой яме холодно, и одиноко, и дышать скоро будет нечем.

— А зачем дышать? — удивился солдат. — Там ведь уже не дышат. Там вечный покой, и его охранять надо.

— А, значит, ты пришел охранять? А где ружье?

— Я пришел знакомую навестить, она тут неподалеку лежит, — странно ответил солдат.

— И тоже не дышит?

— Конечно, не дышит, она же умерла.

— А зачем ты тогда пришел? Может быть, тебе помочь из ямы ее забрать?

Вдруг солдат спрашивает:

— Тебе сколько лет?

— Пять, но скоро будет десять.

— А что такое "умереть" ты знаешь?

— Да. Наказание такое — закапыванием. Никого еще не простили за умирание,

Но прежде — о преждевременных утратах литературы Одессы. Это ставшая жертвой теракта молодой драматург Анна Яблонская. Это поэт, прозаик, драматург Марина Хлебникова, не много успевшая, но талантливая Елена Гассий. И, наконец, состоявшийся прозаик и драматург Георгий Голубенко…

Убеждён: сейчас мы находимся на приходе новой литературной волны. С ней мы и связываем надежды нашего альманаха "Дерибасовская — Ришельевская".

В нашем городе сейчас работает замечательный прозаик Сергей Рядченко. Далеко не все его прочли, далеко не все его осмыслили, осознали — хотя мы издали большой том его прозы в серии "Библиотека одесской литературы". Человек-оркестр Игорь Божко, прозаик, поэт, музыкант, художник. Выходят книги Олега Губаря — образцы современной минималистичной прозы. А рядом — совершенно юная девочка Майя Димерли, пришедшая с первыми стихами — неплохими стихами, хорошими стихами. Но вдруг в ней почувствовался прозаик. После первого рассказа мы попросили её писать прозу. И в этом году, я надеюсь, выйдет сборник её рассказов.

Эссеистика всегда была сложным жанром. И тем не менее — посмотрите, каких успехов добился Евгений Деменок. Его эссе, связанные с историей одесской культуры, читаются столь же захватывающе, как чьи-нибудь детективные романы. Потому что в них правда, в них поиск, в них находки того, о чём десятки лет или по незнанию, или умышленно говорили и писали неправду.

А поэты… Когда-то мы могли назвать Игоря Павлова, Галину Маркелову, Аню Стреминскую, Анну Сон… Сейчас, слава Богу, появились молодые. Такие как Евгения Красноярова, Елена Боришполец, Влада Ильинская, Юля Мельник… Мог бы назвать еще десяток, ещё ряд имён.

В Одессе нет проблемы, кто на каком языке пишет. Наиль Муратов только что издан и в Киеве, и в Москве. А год назад к нам пришла удивительная, талантливейшая украинская писательница Анна Костенко, и мы приветствуем её столь же радостно, как и молодых русскоязычных поэтов и прозаиков, принесших нам свои первые произведения.

Не назвал очень многих — любимых и читаемых: Сергея Четверткова, Вадима Ярмолинца, Анатолия Контуша, Веру Зубареву, Людмилу Шаргу, Илью Рейдермана, Игоря Потоцкого, Александра Дорошенко, Тину Арсеньеву… Что делать, это не Доска почета.

Я был бы несправедлив, если бы не сказал, что вот уже шестьдесят лет над Одессой светит звезда Михаила Жванецкого. А это надежный маяк и в одесской, и в мировой литературе.

Мне кажется, что Одесский международный литературный фестиваль состоялся очень вовремя. Сейчас можно вживую увидеть подъём новой одесской литературной волны. Воспользуйтесь этим.

Евгений ГОЛУБОВСКИЙ

Присвячується загиблим…

Очі не потрібні, коли така темрява. Тиша, тонка і кольорова, гойдається. З'являється Воно, бере мене в прозору склянку і зачиняє на ключ темряву й тишу. Довгий спокійний шлях. Воно зупиняється тоді, коли потрібно.

— Ти — душа, отже ти скоро матимеш тіло, — сказало мені Воно, виймаючи із склянки, — ти ще не людина, бо не маєш тіла. Але в тебе є душа, отже, ти скоро матимеш і тіло. І я кажу це тобі.

Воно поклало мене на тепле й вогке.

— Це земля, — каже.

І я лежу на теплій, вогкій поверхні під назвою — земля.

Щось велике й легке підіймає мене до пекучого сяйва. Я відчуло, що скоро утвориться моє тіло.

Мене вдаряє в'їдливе. Я вгадало — це була вода. Вода була в мені. Потім вона залишила мене, мабуть, на декілька тисячоліть і повернулась із землею в руках.

В мене виростають вуха. Потім глиняні легені, але вони ще не вміють дихати. Виникають інші органи. З'являється серце. Живі очі. Я подумало: якщо є очі — не потрібна темрява. Я подумало — отже, в мене виник мозок.

Органи висять у повітрі. Не хочуть об'єднуватися в один організм. Зроблені із глини, почали розтікатися.

Вода поступово теплішає. Вогонь, що прилетів на допомогу, взяв її за руки, і вони почали танцювати. Мої, хоча ще не мої, органи почали зростатися, стрибаючи і пританцьовуючи. Дотик спалючого поцілунку вогню — це останній штрих. М'ясо і шкіра виникли від нього.

Знову Воно бере мене і кудись веде.

— Охолонь, — шепоче, — сідай отут і чекай на мене, я скоро прийду. Охолонь.

Сідаю. Охолоджуюсь. Ліворуч і праворуч сидять такі самі, як і я. Дивимось одне на одного та не порушуємо тендітного спокою.

Черга поповнюється з кожною хвилею нестерпної тиші. Дивиться на мене, бо я здаюсь надто спокійне, що ж…

— Твоя черга, — вперше почули мої вуха, — пішли. Твоя черга…

Йду. Потім лечу над високо-далекими сходами. Я не вміло рахувати, але сходинки були нескінченні.

— Стій.

Я стало на коліна. Я виснажене.

— Ти будеш жінкою, — пролунало Ласкаве, — твоє тіло ще не бездоганне, але в тебе є душа.

— Я не бачило її…

— Ти не бачила її, бо ти сама душа. В тебе ще не бездоганне тіло. Але ти будеш жінкою.

Воно зробило мені знак.

— Ти майже людина, — пролунало Ласкаве, — можеш запитати про що завгодно.

— Можу я побачити свою душу?..

— Звичайно…

Відірвали мені голову. З неї вилетіла якась велика істота, вища й ширша за мене.

Ласкаве вгадало мої думки:

— Дай свою долоню.

Я дало — душа стрибнула до неї і стала моєю долонею.

— Бачиш, яка маленька…

Не пам'ятаю, як потрапила сюди. Навколо біле тягуче світло. Підіймаюсь і бачу надприродні дерева з надприродними птахами. Ці птахи мають гарні крила і людські очі. Дивні птахи. Ці птахи мають нелюдські крила і гарні очі. Дивні птахи. Дерева, на яких сидять птахи, ходять. Птахи ходять по деревах, які співають. Гілка одного з дерев міцно тримає мій животик. Мене це не лякає, бо вітер загорнув моє тіло в туман білого тягучого світла. Я починаю рухатися. Мої ноги довшають, руки міцнішають. Я дивлюсь на своє тіло. Яке воно гарне! Яке маленьке, проте яке сильне! Я милуюсь собою, адже я жінка, хоча і ще неіснуюча.

Вітер лиже обличчя. В його слині я відчуваю тривогу. Зникли дивні птахи. Гілка надприродного дерева вирвалась із моєї плоті. Переді мною з'явилася стіна гіркого кольору.

— Не йди, — пролунало Ласкаве, — тобі ще зарано!

Все рівно йду.

— Не йди, — пролунало Ласкаве, — тобі ще зарано!

Йду. Відчуваю, як мої ноги колючкою з'їдає пісок. Заходжу по коліна — пісок. По груди — пісок. Далі не можу пересуватися. Щось із зовні мене роз'їдає.

Не чулися співи дерев: вони були далеко. Не видно. Поруч зі мною інші тіла. Рухаються, зникають. Знов з'являються. Проте я стою на місці і відчуваю нестерпний біль. Відчуваю… вос-таннє. Повштох. Оглядаюся і бачу, що в мене зникають органи, зникає ще не існуюча жінка. Глина мого тіла тане разом із тими мовчазними тілами. Щось із зовні вбиває мене. Щось не хоче, щоб я була…

Куди мені далі прямувати — я не знало. Інший берег розлився чорним камінням. Він заповнений істотами із заплющеними очима. Мабуть, їм не потрібні очі, коли є така темрява й тиша…

Хочу продовжувати рух. Тепле й вогке заважає. Хочу жити, але не житиму…

Винирнуло з піску Воно і спитало:

— Тобі куди?

— Мене ще не було, коли вже не стало…

— Тоді тобі зі мною, — сказало Воно і поклало мене в прозору склянку…

Присвячується загиблим… від аборту.

Ганна КОСТЕНКО.

***

Ко мне является моя тень:
Она считает себя таковой,
Но даже в самый свой трудный день
Она не выглядит неживой.

Сидит со мной за одним столом,
И пьет остывший несладкий чай,
И обнаженным своим плечом
Меня касается невзначай.

И тень моя говорит со мной
О том, как тенью быть тяжело,
О том, как зябко было зимой,
Но летом снова станет тепло.

А я ответить на то готов,
Что лето — каверзная пора,
И даже в лучшем из городов
В июле будет стоять жара.

Асфальт расплавится на жаре,
И тень расплавится вместе с ним,
Пусть очень холодно в январе,
Зато мы будем совсем одни

В пустом дому, что промерз насквозь
И где не топлен давно камин,
Где с тенью собственною поврозь
Я прожил годы совсем один.

И на полу разведя костер,
В неярком свете его огня
Я сам с собою вел разговор,
Ведь тени не было у меня.

А тень моя прожила сама
Весь этот долгий печальный срок,
И если мы не сошли с ума,
То потому лишь, что Бог берег!

И оттого, что Он нас берег,
Мы вновь сидим за одним столом
И продолжаем наш диалог,
Который вроде бы ни о чем.

И тень моя говорит со мной
О том, как тенью быть тяжело,
О том, как поздно этой весной
В наш город снова пришло тепло.

И я готов согласиться, но
Мне больше хочется промолчать,
Я допиваю свое вино,
А тень моя — свой остывший чай.

И завершив этот трудный день,
Мы с тенью выйдем из-за стола
И вместе с ней удалимся в тень,
Которой раньше она была.

Наиль МУРАТОВ.

Четвёртая стража

Тот, кто войти под твой стремится кров,
поёт, не выговаривая слов;
не кашляет охрипшим nevermore'ом —
в невидимые дует паруса,
и тонкие чужие голоса
ему бесстрастно подпевают хором.

До сна ли тут, когда сгустилась мгла.
Жужжи, жужжи, казённая игла,
верти волчок, царапай дно колодца;
искрится нить в стеклянном колпаке,
и свет её с той мглой накоротке,
что в стены ненадёжные скребётся.

Твой терпеливый гость тихонько трёт
напильничком мышиным взад-вперёд.
Поёт волчок, подрагивает веко;
жужжи, жужжи, наматывай круги.
Снаружи, как положено, ни зги,
ни зверя, ни звезды, ни человека,

что, собственно, не значит — ни души.
Звени ключом, бумагами шурши —
не отменить присутствия, дыханья
и в воздухе особой тесноты,
что предваряет взгляд из темноты
и влажных крыльев лёгкое касанье.

И, в общем-то, всего осталось чуть —
неловко улыбнуться и шагнуть
навстречу, путь себе отрезав к бегству,
и губы разомкнуть не без труда,
чтоб прошептать дежурное: "Куда
ведёшь меня?" И далее по тексту.

Песенка

слово на ветер, стая
с клёкотом на карниз
чёрная, винтовая,
дрогнула, как живая
конус улиткой вниз

не отдышавшись толком
в пропасти между волком
и беспородным псом
всё растолкать по полкам
не хлопоча лицом

сдавит, потом отхлынет
чай беспризорный стынет
известь хрустит в крови
в скважине ключ заклинит
letum non omnia finit
не улетай
живи

***

Цветок в заветном саду сорвать на ходу,
на бегу,
на берегу пруда, в котором весь мир двоится;
не расслабляйся, путник,
не пей обманной водицы,
ужин отдай врагу.

Враг не бывает сыт. Отдай мне то, говорит,
чего в доме своём не знаешь,
о чём душа не болит,
а как придёт пора выкуп вести со двора —
попомнишь сад, и ограду, и пруд,
затянутый ряской,
пока народ провожает невесту
фольклорной пляской
и громким криком "ура".

Пальцы проклятый стебель жжёт.
Но идти до конца —
есть, по законам жанра, долг любого купца.
Ветер разносит пепел. Тихо; ворота настежь.
Дочка, встречай отца.

Ирина БЕНЬКОВСКАЯ.

Слизни

Листок переползают слизни,
а селезни утюжат пруд.
Я в подетальный список жизни,
конечно, внес бы их маршрут.

Но списка нет. И сад осенний
наполнен запахами прели.
Он лишь нарезка из мгновений,
что выжить в памяти сумели.

А в памяти тускнеют лица,
с дымком костров уйдут детали.
Увы, желанье сохраниться
реализуется едва ли.

Тропинка вьётся луговая,
через мгновенье дождик брызнет,
и жизнь, как листья, подгнивает
в предчувствии скольженья слизней.

Счастье

Был, и есть, и буду счастлив
до конца, пока живой.
И не важно — день ли, час ли.
Это принцип и настрой.

У изгнанников из рая
впереди лишь терпежи.
Но себя превозмогая,
можно осчастливить жизнь.

И происхожденье чуда —
в этом росте над собой.
Чтоб сказать: "Я есть и буду.
До конца, пока живой…"

Константин ИЛЬНИЦКИЙ.

никого отсюда назад не забрали. А ты ее заберешь?!

Солдат расплакался и ушел. А я поняла, что такое "тревожиться". Я пошла следом за солдатом, чтоб его утешить.

Пришли мы к огромной яме. В яме было много травы.

— Сбросы шалфея, — объяснил солдат. — Жмых, понимаешь?

— Понимаю. А зачем его сюда сбрасывают? Чтобы закопать?

— Нет. Сюда недавно лошадь из нашей части упала. Ее под нож собирались пустить, из-за болезни. Но лошадь пропала. Заблудилась, наверное. И я нашел ее в этой яме. Приходил к ней, смотрел. Она сначала глаз не открывала. А потом вдруг голову подняла и посмотрела, как живой человек. Как будто попросила: "Не рассказывай никому, что я в яме шалфеевой лежу. Мне тут хорошо". Ну, я никому и не говорил. Хлеб приносить стал, сахар. Но она ничего не хотела. А в один прекрасный день смотрю — стоит лошадь на всех своих четырех ногах и морду на край ямы положила. В общем, помог я ей выбраться; доски настелил, ну, подпихивать стал, а она все правильно делала, понимала. И мы с ней пришли в часть. Она совсем здоровая оказалась. Никто не верил, что такое бывает.

Мы с солдатом больше не виделись. Но как-то раз я заболела — жар приключился, кашель. Мама налепила мне на спину и грудь горчичники и сказала:

— Спи; попечет немножко, и я сниму.

А я помнила про лошадь и шалфей. И поэтому вылезла через окно и пошла со своим жаром и горчичниками через кладбище, где люди лежат, смертью наказанные. Нашла за кладбищем яму, постояла у края: глубоко. Но лошади ведь там хорошо было. И я прыгнула. Представила, что я тоже лошадь. Стала шалфей жевать, поправлять себя. И уснула.

Проснулась — больше не дрожу. Тепло и спокойно мне. Будто и взаправду я та лошадь. Попробовала встать, чтобы голову на край ямы положить, но не достала. Опять зарылась в шалфей и не знаю, как долго он меня лечил. Но когда родители меня нашли (а их тот солдат, лошади друг, привел, потому что на поиски подняли папин полк), когда отыскали меня, то оказалось, что никаких горчичников больше не надо. Я вся пропахла шалфеем — и ночная зазелененная рубашка, и руки, и волосы. Меня папа нес на руках и вздыхал, а я была выздоровевшая, я чувствовала это, никакого кашля во мне не осталось.

С тех пор я люблю шалфей. И лошадей люблю, только побаиваюсь почему-то. Всегда мне видится не просто лошадь, а стоит вроде она в глубокой яме, из которой по-человечьи смотрит: не оставляйте меня одну, не наказывайте меня закапыванием и цветами!

А на кладбище я больше не хожу. Никто оттуда не вернулся на моей памяти, никто головы на край ямы не положил, как лошадь, никто.

Понимаете?

Ольга ИЛЬНИЦКАЯ.